

**См. статью
«Любовь»**

Давид Гроссман

**См. статью
«Любовь»**



**Москва
2019**

УДК 821.411.16-31
ББК 84(5Изр)-44
Г88

David Grossman
SEE UNDER: LOVE

Copyright © David Grossman, 1989
This edition published by arrangement with Deborah Harris
Agency and Synopsis Literary Agency

Перевод с иврита *С. Шенбрунн*
Художественное оформление *Т. Лариной*

Гроссман, Давид.
Г88 См. статью «Любовь» / Давид Гроссман ; [перевод
с иврита С. Шенбрунн]. — Москва : Эксмо, 2019. —
864 с.

ISBN 978-5-04-103908-0

Герои Гроссмана — люди, которые не могут убежать от прошлого. Это целое поколение израильтян, чьи родители погибли в Холокосте. Поколение, для которого история — более чем осязаемое напоминание о способности человечества творить зло и жить в состоянии вечной скорби. «См. статью «Любовь» — пронзительный роман, полный литературных и философских отсылок, который должен встать на одну полку с Фолкнером, Грассом и Маркесом.

УДК 821.411.16-31
ББК 84(5Изр)-44

ISBN 978-5-04-103908-0

© Шенбрунн С., перевод на русский язык, 2019
© Издание на русском языке, оформление.
ООО «Издательство «Эксмо», 2019

Часть первая

МОМИК

Вышло так, что через несколько месяцев после того, как бабушка Хени умерла и ее закопали в землю, Момик получил нового дедушку. Этот дедушка появился в месяце шват года Ташат, который по-гойски тысяча девятьсот пятьдесят девятый, и не через программу «Приветы от новых репатриантов», которую Момик должен был слушать каждый день с часу двадцати до часу тридцати, пока обедал, и очень-очень внимательно прислушиваться, не скажут ли по радио одно из тех имен, которые папа написал ему на листе бумаги, — нет, дедушка появился на санитарной перевозке с голубым Щитом Давида, которая посреди ужасной грозы, случившейся после обеда, остановилась возле лавки-кафе Бейлы Маркус, и из машины вылез толстый загорелый человек, но не из «черных», не из *шварце*, а из наших, и спросил у Бейлы, знает ли она здесь, на этой улице, семью Нойманов, и Бейла перепугалась, скоренько обтерла руки о передник и сказала: «Да-да, случилось что-нибудь, не приведи Господь?» И этот человек ответил, что не надо пугаться, ничего не случилось, что такое должно случиться, только вот прислали к ним тут одного родственника, и указал большим пальцем через плечо на перевозку, которая выглядела совершенно тихой и пустой, и Бейла сделалась вдруг белая, как вот эта стенка, а все знают, что она ничего не боится, и вообще не пошла к машине, а, наоборот, отступила немного назад, к Момику,

который сидел за одним из маленьких столиков и делал уроки по Торе, и сказала: *вей из мир!* — почему вдруг родственник — теперь?! И дяденька сказал: «Ну, мидам — *гиверет*, нет у нас времени, если ты знаешь их, так, может, скажешь, где они, потому что у них дома есть никого». Он говорил неправильно, с ошибками, хотя по виду был старожил, и Бейла тотчас сказала ему: уж понятно, что у них теперь никого нет дома, потому что они не паразиты какие-нибудь, они люди, которые очень тяжело трудятся ради куска хлеба, с раннего утра и до самого вечера они там, на другой улице, в этом ящике, в киоске «Лотерея счастья», а этот вот, мальчик, он ихний, а вы подождите, господин, минуточку, я мигом пойду позову их. И Бейла побежала, даже передник свой не сняла, а дяденька поглядел так немного на Момика и подмигнул ему, а Момик никак не ответил ему, потому что он прекрасно знает, как следует и как не следует вести себя с чужими людьми, с которыми он совершенно не знаком, и тогда дяденька пожал так плечами и принялся читать газету, которую Бейла оставила раскрытой, и сказал в пространство, что даже с этим дождем, который льет теперь, это будет засушливый год, и этого только, в самом деле, нам не хватало. Но Момик, который вообще-то всегда вежливый мальчик, не стал его слушать, а вышел наружу, под дождь, к перевозке, залез на ступеньку, которая у нее сзади, протер от дождя маленькое круглое оконце и заглянул внутрь, и увидел там человека — самого старого человека на свете, который плавал внутри, как, скажем, рыба в аквариуме, и был одет в пижаму в синюю полоску и сморщен, как изюмина, — как бабушка Хени прямо перед тем, как умерла. У него была такая немного желтая и немного коричневая кожа, как у черепахи, и она свисала у него складками с шеи и с рук, которые были очень худые, а голова у него была совсем лысая, и глаза голубые и как будто пустые. Он подскакивал и плавал в пространстве машины, махал изо всех сил руками во все стороны и плавал, и тут Момик вспомнил грустного швейцарского крестья-

нина, которого тетя Итка и дядя Шимек принесли ему в подарок, — упрятого в маленький круглый стеклянный шар, в котором шел снег, — а Момик нечаянно разбил его. И вот, не долго думая, Момик открыл дверцу машины и испугался, когда услышал, что человек разговаривает сам с собой странным таким голосом, то громко, то еле слышно, то с жаром и воодушевлением, то чуть ли не со слезами, как будто он выступает на сцене или рассказывает кому-то такую историю, в которую никто не хочет поверить, и сразу же, в ту же секунду — и это правда трудно понять, — Момик знал на тысячу процентов, что старик — это Аншел, младший брат бабушки Хени, мамин дядя, про которого всегда говорили, что Момик на него похож, в особенности подбородок, лоб и нос, и который писал рассказы для маленьких детей в газетах Там у них, в той стране, но ведь Аншел умер у нацистов, да сотрется их имя и память о них! А этот выглядел живым, и Момик стал надеяться, что родители согласятся растить его в доме, потому что после того, как бабушка Хени умерла, мама сказала, что она желает только одного — закончить свои дни спокойно. И именно в эту минуту появилась мама, жалко, что Момик не подумал тогда о Мессии, а за ней бежала Бейла, еле волоча свои больные ноги, которые, ноги, — большое счастье Мэрилин Монро, и кричала маме на идише: только не пугаться и не пугать ребенка! — а позади мамы и Бейлы тащился папа, громадный такой, и с трудом дышал — лицо у него было красное, и Момик подумал, что это, видно, очень серьезное дело, если они оба вместе покинули свой ящик с лотереей счастья. Ладно, водитель перевозки сложил не торопясь газету и спросил, верно ли, что они Нойманы, родственники Хени Минц, да будет память ее благословенна, и мама сказала странным таким непохожим голосом: «Да, это была моя мама, а что уже случилось?» Толстый водитель расплылся в жирной улыбке и сказал, что ничего не случилось, что должно случиться, вечно все ожидают, чтобы что-то случилось, а мы просто привезли вам в добрый час вашего

дедушку. И тогда все пошли вместе к задней двери машины, и водитель залез внутрь и запросто поднял старика на руки, а мама сказала: «Ой, чтобы мне так жить, ведь это Аншел!» — и начала раскачиваться из стороны в сторону, без конца так раскачиваться, и Бейла побежала быстрее в свое кафе и притащила для нее стул (как раз вовремя), чтобы она не упала, и водитель опять сказал, что не нужно так пугаться, не хватает только, чтобы мы получили тут, не дай Бог, чего-нибудь нехорошее, и после, когда поставил старика на ноги, шлепнул его так дружески по сохшейся спине, которая к тому же была совершенно согнутой, и сказал ему: «Ну, вот твоя семья, *мишпухе* твоя, господин Вассерман! — И сказал папе и маме: — Вот, десять лет уже он у нас в лечебнице для душевно тронутых — в Бат-Яме, и никогда не можно понять его, вечно тянет какие-то свои пей-й-сни, что ли, и разговаривает сам с собой, как вот сейчас, не то молится, не то неизвестно что, и вообще не слышит, что ему скажут — глухой, бедняга, *небех*, вот твоя *мишпухе*. — Он кричал ему в самое ухо, чтобы показать всем, что старик и вправду глухой: — Ха, глухой как пень! Как пробка! Кто может знать, что они там ему сделали, да сотрется их имя, ну, мы не ведаем даже, где он был, в каком лагере или где там еще, ведь привозили к нам людей и похуже, вы должны были видеть, не дай бог вам такое узнать, но вот месяц назад, или вроде того, открывает он вдруг рот и начинает говорить всякие имена, разных людей, и говорит тоже: «Хани Минц». Так наш заведующий проделал такую небольшую работу, вроде как сыщик, и выяснил, что все люди, которых он назвал, уже умерли, да будет их память благословенна, а госпожа Хани Минц записана тут, в Бет-Мазмиле в Иерусалиме, но и она, да будет память ее благословенна, тоже померла, и что вы ее единственные родственники, ну, и что там — господин Вассерман здоровее уже, верно, так и так не станет, но он молодцом: умеет потихоньку кушать самостоятельно и, извиняюсь, нужду свою тоже справляет самостоятельно, а государство наше несчастное,

небех, нищее, и врачи у нас сказали, что можно держать его даже в таком его состоянии дома, наконец-то семья, верно? И вот пакет со всеми его вещичками, одежонка его и бумаги про болезнь, документес то есть его, и всякие рецептес на лекарства, которые он у нас получал, а он, правда, очень удобный — послушный и тихий, кроме, конечно, как эти его размахивания и еще что бормочет, но это ничего, ничего такого страшного, в самом деле пустяки, ерунда, у нас все его любили, называли его семья Малевских — за то, что все время пел, это, понятно, смехом, в шутку, ну, скажи уже «здравствуйте», «шалом» скажи своим детям! — проорал он старику в ухо. — Ха, ничего, глухой как пень, и вот, господин Нойман, подпиши ты мне тут и тут, что получил его от меня, может, есть у тебя какая-нибудь бумага, удостоверение какой-нибудь личности? Нет? Не страшно. Я и так верю. Ну, *шойн*, ладно, чтоб было в добрый час, это большая радость, я так понимаю, ну, прямо как младенчик родился, да, ничего, вы привыкнете к нему, ну, мы должны вернуться уже в Бат-Ям, есть еще много работы, благословен Господь, до свиданья, господин Вассерман, не забывай нас!» И он засмеялся прямо перед самым лицом старика, который вообще не замечал, что он там, тотчас забрался в свою перевозку и скоренько укатил.

Бейла побежала взять ломтик лимона, чтобы помочь маме как-нибудь немножко прийти в себя. Папа стоял, не двигаясь, и смотрел вниз на потоки дождя, стекавшие в пустую яму, в которой муниципалитет так и не посадил сосну. Вода струилась по маминому лицу — она сидела на стуле под дождем с закрытыми глазами, коротышка такая, толстые ноги не доставали до земли. Момик приблизился к старику, осторожно взял его за худую руку и потянул под навес, который над Бейлиной лавкой, чтобы лучше уж он стоял под навесом, чем под дождем. Момик и старик были почти одинакового роста, потому что старик был совершенно сторбленный и еще у него была небольшая шишка под шеей. И еще в ту же самую минуту Момик увидел, что

на руке у этого нового дедушки выбит номер, как у папы и тети Итки и как у Бейлы, но Момик сразу понял, что это другой номер, и тотчас начал заучивать его. Тем временем Бейла вернулась с лимоном и принялась тереть маме лоб и виски, и воздух наполнился приятным запахом, но Момик еще не двинулся и ждал, поскольку знал, что мама не так уж быстро приходит в себя.

И в это же самое время в конце переулка показались Макс и Мориц, которых по правде звали Гинцбург и Зайдман, но никто не помнил этого, кроме Момика, который помнил все. Они были два старикана, которые везде были вместе и вместе жили в подвале двенадцатого блока, набивали его всяким вонючим тряпьем, старым барахлом и прочей холерой, которую собирали где только можно. Когда из муниципалитета пришли вышвырнуть их из подвала, Бейла так кричала, что их оставили в покое и вообще убрались восвояси. Макс и Мориц никогда не разговаривали с другими людьми, только между собой. Гинцбург, который был жутко противный и вонючий, все время ходил и спрашивал: «Кто я? Кто я?» Это оттого, что у него пропала память Там, у тех, да сотрется их имя, а низенький, Зайдман, лыбился во весь рот на весь белый свет, и про него все говорили, что он пустой внутри. Ни единого шага они не делали друг без друга — черный Гинцбург тащится впереди, а за ним Зайдман, и держит свой черный мешок, который воняет за километр, и лыбится в пространство. Когда мама Момика видела их, как они идут, она всегда говорила про себя тихонько, скороговоркой: *ойф але пусте вэлдер, ойф але висте вэлдер*, только чтобы несчастье обрушилось на пустые леса и на дикие леса — и, конечно, повторяла Момику, чтоб не смел приближаться к ним, но он знал, что они в порядке: факт, что Бейла не согласилась, чтобы их вышвырнули из подвала, хотя сама она тоже в шутку обзывала их по-всякому: и скоморохи, и паяцы, и Пат и Паташон — и говорила, что они два Микки-Мауса, как те, которые были в газетах в той стране, откуда они все прибыли.

И вот оба они приблизились так медленно-медленно, только было странно, что на этот раз они как будто не боялись людей, а, наоборот, подошли совсем близко, и стали прямо около дедушки, и уставились на него, а Момик посмотрел на дедушку и увидел, что нос у него слегка шевелится, как будто он обнюхивает их, но это, понятно, не фокус — унюхать их, Гинцбурга может унюхать даже тот, у кого совсем нет носа, но тут было что-то другое, потому что дедушка вдруг прекратил свое пей-й-ние и стал смотреть на этих двух чокнутых — мама называла их так тоже, — и Момик почувствовал, как все три старика вдруг одновременно насторожились и напряглись, будто разом что-то учуяли, и тогда новый дедушка ни с того ни с сего отвернулся от них с ужасной досадой, как будто напрасно потерял драгоценное время, которое ему никак нельзя было терять, и тотчас вернулся к своему противному завыванию, и снова как будто ничего не видел, только взмахивал с силой руками, словно он плавает в воздухе или говорит с кем-то, кого здесь нет, а Макс и Мориц посмотрели на него, и низенький, Зайдман, начал повторять те же движения и завывать таким же голосом, как дедушка, — он всегда делает то же самое, что другие люди, которых он видит перед собой, и Гинцбург строго осадил его, издал такой сердитый звук и стал уходить, и Зайдман потащился за ним следом.

И когда Момик рисует их на марках своего королевства, они тоже всегда вместе.

Ладно, тем временем мама поднялась, вся белая, как стенка, выкрашенная известкой, и закачалась, как будто совсем без сил, и Бейла взяла ее под руку и сказала: «Обопришь на меня, Гизла», и мама вообще не поглядела на нового дедушку и сказала Бейле: «Это убьет меня, помни мои слова, это убьет меня, почему только Господь не оставляет нас капельку в покое, не дает нам немного пожить?» И Бейла сказала: «Тьфу, как ты говоришь, Гизла, ведь это не кошка, это живой человек, нехорошо так». И мама сказала: «Не хватает с меня, что я осталась сирот-

той, и сколько мы настрадались в последнее время с моей мамой, так теперь все сначала, посмотри на него, как он выглядит, он пришел умереть у меня — это то, зачем он пришел!» И Бейла сказала: «Ша, ша, тихо!» И взяла ее за руку, и обе они прошли мимо дедушки, и мама даже не взглянула на него, и тогда папа подавился таким кашлем: ах, ну что тут стоять! Подошел и решительно положил руку на плечо старика, и посмотрел на Момика с такой немного виноватой миной, и начал уводить старика оттуда, и Момик, который решил уже звать старика дедушкой, хотя тот, в сущности, не был по-настоящему его дедушкой, сказал себе: надо же, поглядите — старик не умер, когда папа дотронулся до него! Значит, зря он боится дотрагиваться до людей. Но тут же понял, что на самом деле это ясно: кто пришел Оттуда, тому уже ничего не может сделаться.

В тот же день Момик спустился в чулан, что под их домом, и произвел там розыски. Вообще-то он боялся спуститься туда — из-за темноты и грязи, — но на этот раз он был обязан. Между большими железными кроватями и матрасами, из которых сыпалась труха, и грудями всякого хламья и драной обуви стоял еще бабушкин сундук, *кифат*, здоровенный такой ящик, туго перетянутый веревками, в котором были все вещи и тряпки, которые бабушка привезла Оттуда, и книга, специальное Пятикнижие для женщин, которое они читают по субботам и которое называют еще Цеэнаурена, и большая доска, на которой она раскатывала тесто, и, главное, там были три мешка, набитые перьями из гусиных попок, которые бабушка Хени со страшными опасностями тащила через полмира на всяких кораблях и поездах только для того, чтобы сделать себе из них в Эрец-Исраэль, Стране Израиля, пуховое одеяло, чтобы у нее не мерзли ноги, ну, и когда она прибыла сюда, то что же выяснилось? Выяснилось, что тетя Итка и дядя Шимек, которые прибыли раньше ее и сразу здесь разбогатели, уже купили для нее двупальное пуховое одеяло, и перья остались в подвале и тут же начали покрываться плесенью и всякой холерой, но у нас никакие вещи

не выбрасывают, но, главное, на дне сундука хранилась тетрадь со всякими записями, которые бабушка делала на идише, что-то вроде воспоминаний — когда они у нее еще были, потому что тогда у нее была еще память, но Момик-то точно помнил, что один раз, еще до того, как он вообще научился читать, и прежде, чем стал *алтер коп* — старая мудрая голова, бабушка показала ему лист желтой-прежелтой, древней-предревней газеты, и там был напечатан рассказ, который ее брат, этот самый Аншел, написал сто или двести лет назад — приблизительно, конечно, — и мама сердилась тогда на бабушку, зачем она морочит ребенку голову всякими глупостями, которых давно уже не существует и не надо вспоминать о них, и теперь Момик на самом деле увидел, что этот газетный лист все еще там, в сундуке, — засунутый в тетрадь, но, когда Момик взял его в руки, он начал разваливаться и рассыпаться, поэтому Момик зажал его между листами тетради, и сердце его ужасно колотилось. Он уселся на сундук верхом, чтобы перевязать его, как было, теми же веревками, но оказался слишком легким для того, чтобы как следует придавить крышку, и поэтому оставил его приоткрытым и хотел уже убежать из чулана, как вдруг ему пришла в голову такая странная мысль, что он застыл на месте и совсем забыл, что хотел сделать, но краник его очень даже ему напомнил, и он еле успел выскочить наружу и стал писать прямо возле лестницы, потому что так с ним случается всегда, когда он спускается в чулан.

Ладно, он сумел пронести тетрадь домой так, что никто не заметил, сразу зашел в свою комнату, и открыл ее, и увидел, что по дороге лист еще немного попортился и раструсился, а сверху вообще весь истлел и рассыпался, и Момик тотчас понял, что первым делом он должен переписать все, что есть на этом листе, потому что иначе всему этому капут. Он вытащил из-под матраса свою тетрадь сыщика и начал быстренько, ужасно волнуясь, переписывать слово за словом весь рассказ, который был в пожелтевшей газете: